

Всё нея

Д. Колиев



18+

Денис Колиев

Все не я

«Автор»

2026

Колиев Д. П.

Все не я / Д. П. Колиев — «Автор», 2026

Илья с детства умеет слышать то, мимо чего проходят другие: как человек замолкает раньше, чем уходит, как вежливость прячет страх, как чужая усталость звучит громче любых слов. Этот слух делает его точным — и делает чужим. Он растет среди тонких стен, больничных коридоров, случайных разговоров, старых вещей, чужих ссор и недоговоренных прощаний. Чем лучше он понимает людей, тем яснее видит страшную вещь: близость не спасает от одиночества, а правда не всегда помогает быть рядом. Иногда она только отдаляет. Это роман о человеке, который слишком рано научился замечать суть и слишком поздно понял, что одного понимания мало. Надо не только услышать, но и остаться. Не только увидеть трещину, но и подать кружку воды, прийти вовремя, не отвернуться. О совести без свидетелей, о любви без красивых слов, о семье, памяти, вине и той внутренней границе, за которой человек вдруг понимает: жить среди людей — не значит быть с ними. Но, может быть, именно с этого и начинается настоящая близость.

© Колиев Д. П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Тонкие стены	5
I. Дом, где стены знали больше людей	5
II. Школьный хор	11
III. Белые руки Антонины Степановны	16
IV. Первый отказ	21
Глава вторая. Город, который говорит ртом другого	27
I. Комната учета	27
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Денис Колиев

Все не я

Глава первая. Тонкие стены

І. Дом, где стены знали больше людей

Сначала Илья научился слушать стену, а уже потом — людей. Дом, куда его принесли из роддома, стоял на сырой улице, кривой и тесный, как шкаф с плохо закрывающимися дверцами: половицы жаловались под ногой, штукатурка держалась пятнами, за каждой перегородкой кто-то кашлял, ворчал, двигал стул. Там нельзя было чихнуть отдельно от соседей. Ложка звенела сразу в трех кухнях. Воду открывали на одном этаже, ругались из-за этого на другом. Стены были тонкие от бедности: их латали, белили, снова латали, а звук все равно просачивался через щели и висел в комнатах дольше, чем запах супа.

Мать говорила ему: не стой под дверью, дурная привычка. Он не стоял под дверью. Он лежал у стены на узкой тахте и слышал все, что стена считала достойным переноса. Поначалу — без смысла. Кашель соседа. Два удара молотком. Мокрое шуршание тряпки по полу. Чей-то смех, у которого был хвост: смех кончался, хвост еще дергался в штукатурке. Потом из шума стали выделяться слова. Они приходили не целиком, а кусками, как обрывки газет, которыми затыкают щели. «Опять». «Нечего». «Сама». «Подумаешь». «Плохо слышишь». Последнее он слышал особенно часто. Взрослые говорили о слухе больше, чем пользовались им. Каждый требовал, чтобы его услышали, но никто не собирался слушать.

Мать была швеей на дому и почти всегда работала молча. Не то чтобы ей нечего было сказать; наоборот, в ней, наверное, жило много слов, только она держала их так же, как держала иглы: в губах, в подушечке для булавок, в коробке из-под карамели. По вечерам она сидела у лампы, вытягивая нить длинным движением, и ее пальцы казались отдельным существом. Пальцы были быстрые, сухие, почти чужие. Лицо у нее в это время становилось ровным, точно она сама себя заштопывала изнутри, чтобы нигде не разошлось. Илья любил смотреть, как ткань проходит под иглой, как куски материи, которые днем были тряпками, становятся рукавом, воротником, чужой спиной. Он думал, что, может быть, и с людьми можно так же: если подобрать нитку, прижать края и не торопиться, все сойдется. Потом понял, что ткань честнее человека. У ткани два края, и они не притворяются третьим.

Отец работал часовщиком в мастерской на вокзале. От него всегда пахло металлической пылью, табаком и чем-то еще, чего Илья долго не мог определить. Уже взрослым он нашел для этого запаха слова: так пахнет человек, который все время касается чужого времени. Отец приносил домой крошечные винтики на ладони, показывая сыну каких-то тихих насекомых. Он мог час сидеть над открытыми часами и молчать, пока вокруг шипела кастрюля, хлопали форточки, кто-нибудь за стеной бранился из-за соли. Молчание у него не давило и не казалось мудрым. Он не верил в полезность объяснений. Когда мать спрашивала, почему он опять задержался, он отвечал так, точно речь шла не о нем и не о ней, а о погоде на соседней станции: работа, люди, колесо, анкер. Она слышала в этом отговорку вместо ответа. Он, наверное, слышал в ее вопросе упрек, не тревогу. Между ними стоял воздух, уже занятый чужими голосами, и их слова не доходили.

Однажды ночью Илья проснулся от того, что мать и отец разговаривали шепотом. Шепот — это был самый страшный звук в доме. Крик хотя бы признавал себя криком. Он был прямой, как палка. Шепот всегда значил, что говорят о главном и хотят спрятать главное даже от

самих себя. Илья не разбирал фраз. Он слышал только сломанные края: «не могу», «ты всегда», «хватит», «мальчик спит». После этого мать долго сидела на кухне одна. Отец вышел во двор покурить в рубашке и не вернулся до утра. Утром он принес теплый батон и две булочки с маком, как хлеб мог отменить то, что уже было сказано не словами.

Через неделю отец ушел совсем. Тихо, почти постыдно. Ни чемодана, ни сцены, которую потом можно было бы назвать началом. Он перестал жить в доме. Сначала из ящика комода исчезли инструменты. Потом пропала чашка с отбитыми краями, из которой он пил чай так, словно хотел наказать себя за нетерпение. Потом мать перестала вслушиваться в шаги на лестнице после восьми. Илья еще долго думал, что отец есть где-то в углу жизни, только не в этой комнате. Так думают дети о вещах, которые исчезают слишком беззвучно: если не было хлопка, значит, предмет не пропал, он отодвинулся.

Мать сказала только одно:

— Люди уходят не ногами. Ноги потом.

Он не понял. Но запомнил. Многие ее фразы были как монеты старого чекана: ими нельзя расплатиться сразу, но они долго греют карман и однажды оказываются нужными.

После ухода отца дом стал слышнее. Один молчаливый человек раньше как-то держал часть шума на себе, а теперь все разлилось по стенам. По ночам сосед сверху ходил так, точно мерил шагами какую-то вину. В коридоре кто-то кашлял и отплевывался в газету. На кухне Антонина Степановна из третьей комнаты кипятила белье, и ее алюминиевый бак стонал под крышкой, точно там варили не простыни, а чей-то упрямый характер. У Антонины Степановны были белые, почти прозрачные руки и глаза человека, привыкшего смотреть на остатки после лиц, не на лица: на пустые тарелки, на забытые пуговицы, на стул, который кто-то отодвинул не так. Она знала обо всех больше, чем следовало бы, и никогда не рассказывала этого прямо. Она подавала сведения как соль: незаметно, кстати, в последний момент.

— Твой отец часов не чинил, — сказала она однажды матери на общей кухне так буднично, как говорила о погоде.

— Он себя чинил. Такие обычно не чинятся.

Мать не ответила. Только ложкой сняла накипь с бульона так резко, будто сдирала кожу.

Он рос худым, бесцветным мальчиком, которого не замечали до тех пор, пока он не отвечал. Отвечал он неохотно, но метко. В школе это не любили. Дети любят шумных или сильных; взрослые — удобных. А Илья был удобен ровно до того мгновения, пока не спрашивали его мнение. Тогда он вдруг становился не по возрасту прямым. Если он не понял задачу, он говорил, что задача написана плохо. Если учитель истории путал даты, Илья молчал до конца урока, а потом нес учебник и показывал строчку пальцем. Это считали не внимательностью, а характером. Слово «характер» в школе всегда означало будущую неприятность для коллектива.

В первом классе учительница велела детям нарисовать свой дом. Все рисовали фасад: окно, труба, солнце с лучами, дверца, дорожка. Илья нарисовал в разрезе. Комнаты, кухню, коридор, ведро под раковиной, сапоги у стены, пятно сырости над кроватью, соседскую руку с половником, высунувшуюся из другой жизни. Учительница долго смотрела и потом сказала, что так дом не рисуют.

— Почему? — спросил Илья.

— Потому что дом снаружи.

— Снаружи его все видят. А внутри — нет.

Учительница засмеялась не по-доброму. Смех у нее был гладкий, как линейка.

— Значит, надо рисовать то, что видят все.

С годами у него выработалась особая привычка: он слушал не только слова, но и то место, куда они падают. Он различал, когда шутка ударяется в самолюбие, когда просьба стучится в усталость, когда оправдание ложится на уже приготовленную вину, как крышка на кастрюлю. Ему не нравилась эта способность. Она не давала преимуществ. Она лишала невинности. Дру-

гие еще успевали обидеться, возмутиться, разогнаться до скандала, а он уже видел, из какого мусора это собрано. Так подросток однажды понимает устройство фокуса и больше не радуется белому голубю в шляпе. Голубь остается живым, но чудо дохнет сразу.

Мать редко хвалила его. Она вообще мало пользовалась теплыми словами, как берегла их на случай настоящей зимы. Но иногда вечером, когда он читал вслух, она слушала, не поднимая головы от шитья, и только по замедленному движению иглы можно было понять: ей хорошо. Илья любил читать ей не сказки, а то, где есть ясность. Записки путешественников, рассказы о болезнях растений, статьи о том, как делают стекло. Факты успокаивали мать. В фактах не было просьбы пожалеть, согласиться, восхититься. Факт никому не навязывался. Он стоял и занимал место, как ведро с водой. Его можно было обойти, но нельзя было не заметить. Илья рано понял, что людям легче жить среди мнений, чем среди фактов. Мнение согревает, потому что его можно разделить. Факт холоден. Он не ищет товарища.

Однажды в журнале он прочел, что человеческое ухо никогда не перестает слышать полностью: даже во сне мозг отсеивает шум, но не выключает его. Научная подробность вдруг прозвучала как приговор. Человек никогда не отдыхает от мира. Покой — не отсутствие звука, а его бессилие нас тронуть. Он рассказал об этом матери.

Мать отложила иглу и сказала:

— Вот почему к вечеру люди такие злые.

Антонина Степановна любила ставить на подоконник блюдце с подсолнечными семечками и смотреть во двор. Она не подзывала к себе Илью; он сам подходил. С ней было проще, чем с ровесниками. Она не требовала веселости и не путала молчание с глупостью.

— Ты много слушаешь, — сказала она как-то.

— Все много слушают.

— Нет. Все ждут своей очереди говорить. Это не одно и то же.

Он спросил, откуда она знает.

— Я два раза была замужем, — ответила она.

— Для этого хватило.

Иногда он выходил во двор поздно вечером, когда земля уже темнела, а окна еще не успевали стать звездами. Во дворе был старый тополь с полкой серединой. Мальчишки прятали в дупле окурки, гвозди, стеклышки, ненужные секреты. Илья однажды сунул туда руку и нащупал маленький карманный будильник без стрелок. Будильник был мертвый, но пружина внутри еще сопротивлялась. Он принес его домой. Мать сказала, чтобы выбросил: чужое ржавое добро всегда дороже обойдется. Но Илья оставил будильник у себя. Долго крутил колесико и слушал, как внутри потрескивает пружина. Предмет, созданный для точного сигнала, молчал. Это казалось ему справедливым.

В пятом классе он впервые подрался. Не из-за оскорбления, не из-за мяча, не из-за девочки. На перемене одноклассник Витька Морозов заявил, что Илья задается и «делает вид, точно умнее всех». Илья ответил:

— Не вид. Ты говоришь раньше, чем думаешь.

Удар был быстрый и некрасивый. Витька бил не за истину и не за ложь, а за нарушение общего порядка, по которому такое нельзя произносить вслух. Драка вышла короткая, позорная: упали на пыльный мат у стены, кто-то наступил Илье на руку, завуч вбежала слишком рано. Но вечером, когда мать мазала ему йодом сбитую скулу, он чувствовал странное облегчение, не стыд. Мир подтвердил правило.

— Ты его обозвал? — спросила мать.

— Нет.

— Тогда за что?

— За правду.

— Это одно и то же, если правда сказана без жалости.

Он хотел возразить, но не смог. Жалость представлялась ему чем-то липким, унижительным. Он еще не понимал, что без жалости правда становится ножом, не светом; дело не в том, что она режет, а в том, что начинает любоваться собственным лезвием.

Когда начались подростковые годы, в доме появились новые звуки: чужие магнитофоны, смех в подъезде, долгие телефонные разговоры, в которых половина смысла строилась на паузах. Девочки из соседнего двора смеялись так, точно каждую минуту кто-то должен был их заметить и подтвердить, что они существуют. Мальчики говорили басом, которому еще не верили собственные связки. Илья ходил среди них с тем лицом, которое взрослые называют замкнутым, хотя чаще это просто лицо человека, не желающего участвовать в общем притворстве без крайней необходимости.

Он дружил тогда с одним мальчиком, Колей Бредихиным, сыном машиниста. Коля умел все земное: свистеть двумя пальцами, метать ножички, пролезать в щель между гаражами, не пачкая рубахи. С Ильей его связало не сходство, а полезность: Коля знал, куда идти, Илья — зачем не надо. Однажды летом они забрались на чердак соседнего дома, чтобы посмотреть оттуда на рынок. Внизу орали торговки, блестела рыба, хлопали крышки ящиков. Коля спросил:

— Ты чего всегда такой, будто тебя уже похоронили?

— Какой?

— Точно ты наперед все знаешь.

— Не знаю. Я слышу.

Коля засмеялся.

— Почти одно и то же.

Но это было не одно и то же. Знать — значит иметь опору. Слышать — значит жить без кожи.

Не отсутствие отца и не бедность оказались самым тяжелым. К бедности он привык, как привыкают к запаху подъезда: сначала морщишься, потом уже не замечаешь. Тяжелее было другое: люди говорили так, точно боялись остаться наедине с собой.

Он почувствовал это зимой, когда во дворе умер дворник Семен Лукич. Старик жил в подвале при котельной, собак знал по имени, людей — по походке. На похороны пришло много жильцов. Говорили складно, даже слишком складно. Один вспоминал, как Семен Лукич помогал выносить мебель, другой — как нашел чью-то пропавшую варежку, третья называла его душевным. Илья стоял в стороне и видел: каждый рассказывает не столько о мертвом, сколько о себе рядом с ним. Им хотелось выглядеть добрыми хотя бы в этот час. От этого ему стало неловко — за саму ткань разговора, не за них даже, в которой живого человека почти не осталось.

После похорон Антонина Степановна сказала ему:

— Запомни, мальчик, на поминках больше всего врут не о мертвце. Больше всего врут о живых.

Она посмотрела на него с уважением, как видела, что он уже и сам догадался. Такого уважения ему прежде не доставалось: не за прилежание, не за помощь, а за работу, которую он делал молча и которую никто не назначал.

Весной мать тяжело заболела. Не смертельно, но так, что в доме впервые запахло больницей: лекарствами, вываренным бельем, остывшим супом, который никто не хочет доедать. Она лежала днем, чего прежде не бывало. Илья научился ставить тесто, бегать за лекарствами, принимать заказчиц с их тканями и тревогами. Заказчицы, входя в комнату, понижали голос так старательно, будто жалость — это тоже вид приличия. Они говорили: «Ах, бедная Лидия Петровна», — но глазами ощупывали готовые платья на вешалке. Илья видел, как слова у них не совпадают со взглядом, и его от этого тошнило.

Когда мать пошла на поправку, она стала еще молчаливее. Однажды вечером, уже в темноте, когда лампа была не зажжена и окно висело в комнате как черный прямоугольник без мира, она спросила:

— Ты ведь не любишь людей?

Он ответил не сразу.

— Не всех.

— Так не бывает.

— Бывает.

— Нет, — сказала она.

— Либо любишь без счета, либо свои случаи с ними, не людей любишь.

В ту же весну он впервые заметил, как молчание может быть тяжелее речи. Это случилось на кухне. Соседка из первой комнаты, красивая, громкая Зина, пришла к матери за примеркой и расплакалась из-за пустяка: муж не пришел ночевать, а утром заявил, что «нужно жить проще». Она плакала громко, с тем усердием, которое ждет сочувствия еще до причины. Мать слушала молча, примеряя ей рукав. Ни одного утешительного слова. Ни «не переживай», ни «все наладится». Только булавки блестели у нее во рту. И вот Зина замолчала сама. Лицо у нее переменялось. Она впервые поняла, что ее не уговаривают жить дальше, а оставляют рядом с тем, что есть.

— Почему ты ей ничего не сказала?

— Потому что она уже все сказала вместо меня.

— Но ей было плохо.

— Людям почти всегда плохо не от беды, — ответила мать.

— Им плохо от того, что беду нельзя сразу превратить в рассказ.

В конце учебного года учитель литературы, худой и сутулый Семен Игнатьевич, дал классу сочинение на тему «Что такое понимание». Тема показалась Илье подозрительной, слишком мягкой, как подушка, которой собираются задушить спор. Одни дети написали, что понимание — это дружба. Другие — что это умение прощать. Третьи, самые ловкие, уверяли, что понимание начинается в семье. Илья сидел долго, а потом написал: «Понимание не соединяет людей. Оно показывает расстояние между тем, что сказано, и тем, что услышано. Иногда это расстояние можно перейти. Чаще нельзя. Но если его не увидеть, будешь всю жизнь ходить по кругу и думать, что пришел».

Семен Игнатьевич оставил его после урока.

— Ты это сам придумал?

— А кто еще?

— Формально ты не прав, — сказал учитель.

— Для школьного сочинения.

— А неформально?

Учитель посмотрел в окно, где дети уже неслись по майской грязи, брызгая на забор.

— Неформально ты слишком рано начал.

Семен Игнатьевич не хвалил. Скорее отмечал неровность, как врач отмечает сердце: редкость заметна, но завидовать ей нечему.

Когда ему исполнилось шестнадцать, он ночью подошел к окну и долго стоял, прижав лоб к стеклу. Тополь во дворе чернел, как выгоревшая спичка. В одном окне ругались. В другом кто-то гладил белье. В третьем мужчина ел прямо из кастрюли, наклонившись к ней всем лицом, точно боялся, что еду отнимут. Илья смотрел и мерз, но отойти не мог: за каждым стеклом шевелилась отдельная жизнь, тесная, упрямая, плохо прибранная.

За стеной кто-то засмеялся. Смеялись долго, заразительно, почти счастливо. Илья слушал, пока смех не сорвался в кашель, потом в скрип табуретки, потом в короткое: «Тише ты».

Он отодвинулся от окна, наступил босой ногой на холодный половик и почему-то вспомнил будильник без стрелок, найденный в тополе.

К рассвету дом притих. На стекле остался мутный круг от его дыхания. Илья вытер его рукавом, лег на тахту и еще долго смотрел в темный потолок, где от проходивших за стеной шагов дрожала полоска тени.

II. Школьный хор

На первой репетиции Илью поставили во второй ряд, между Витькой Морозовым и девочкой из параллельного класса, от которой пахло мокрой шерстью и мятными леденцами. В актовом зале было душно. Пианино фальшивило на верхних нотах, портьера цеплялась за гвоздь, а Тамара Львовна шипела из прохода: «Лица, дети, лица! Вы не очередь за хлебом». Илья попытался петь тише, но Полина Михайловна все равно услышала лишний голос.

Весной десятого класса в школе решили поставить большой литературно-музыкальный вечер к городской дате, которую никто из учеников не помнил и не считал своей. Директриса говорила о преемственности, об исторической памяти, о том, что молодежь обязана чувствовать плечо эпохи. Илья слушал и думал, что эпоха, если бы у нее было плечо, отшатнулась бы первой. Но вслух ничего не говорил. Он уже умел молчать там, где правда не принесет пользы, а только добавит пены.

Праздник готовили с тем усердием, с каким готовят не нужное никому, но важное для начальства зрелище. Из актового зала вынесли старые глобусы, перекоsobоченные мольберты, коробки с реквизитом, пахнущие пылью и мышами. Классных руководителей обязали выбрать лучших, ответственных и «представительных». Под последним словом понималось все то же самое, что всегда: не слишком живых, не слишком глупых, не слишком заметных, умеющих держать лицо, когда внутри пусто или смешно. Илья оказался нужен сразу в нескольких местах.

Репетиции шли по вечерам. В актовом зале было душно, сквозняк драл портьеры, пианино рассыпалось в верхних регистрах, а завуч по внеклассной работе, сухая как спичка Тамара Львовна, бегала по проходам и повторяла:

— Выражение лиц! Вы не родственники на вокзале. Вы — молодое поколение.

Хор ставили отдельно. Туда согнали всех, кто более или менее попадал в ноты. Илья петь умел посредственно, но слух у него был точный, поэтому его поставили в средний ряд. Руководила музыкой Полина Михайловна — маленькая женщина с железной прической и лицом человека, который всю жизнь воюет с чужим дыханием. Для нее идеалом был стройный общий звук, без вылезших личных интонаций.

— Не надо чувствовать, — говорила она.

— Надо вести звук. Чувства после.

Хор пел о городе: о реке, о камне, о мужестве предков, о рабочих рассветах. Илья знал эту песню с детства — ее ставили по радио перед какими-то торжественными передачами. Вблизи она звучала еще фальшивее. Каждое слово было слишком готовым. Река в песне несла достоинство, не воду. Камень означал характер, не мостовую. Люди назывались сынами, дочерьми, товарищами, созидателями, кем угодно, только не тем, чем они были утром в трамвае или вечером на кухне. Наглаженная речь оскорбляла реальность именно тем, что делала ее благороднее, чем она есть.

На одной из репетиций Полина Михайловна остановила хор и ткнула карандашом в Илью:

— Вы, Арсеньев, опять поете отдельно.

— Я пою свою партию.

— Вы поете так, как думаете.

— А надо?

— Надо как все.

Ребята засмеялись. Смех был не злой, скорее благодарный: им показали нарушителя, и сразу стало ясно, где норма. Илья умолк до конца репетиции. Ему стало не обидно — скучно. Коллектив, как выяснилось, больше всего берег не согласие даже, а заранее установленный потолок. Все лишнее — талант, глупость, честность — угрожало устройству.

Семен Игнатъевич, учитель литературы, случайно застал его после репетиции в коридоре у окна. Илья стоял и смотрел во двор на серый мартовский снег, который всегда похож на выдохшийся мел.

— Сбежал из хора? — спросил учитель.

— Меня оставили без голоса.

— Это иногда полезно.

— Кому?

— Тем, кто слишком быстро верит своему слуху.

Илья повернулся к нему. Семен Игнатъевич никогда не разговаривал как педагог. Скорее как человек, который и сам не до конца уверен, что слова помогают, но все же пробует.

— Разве можно верить слуху слишком быстро?

— Можно, — ответил учитель.

— Ты слышишь, что люди говорят не то, что думают. Это нетрудно. Трудно услышать, почему они не могут иначе.

Эта мысль раздражала Илью. Она показалась уступкой слабости, почти оправданием.

— А если могут?

— Тогда еще хуже, — спокойно сказал Семен Игнатъевич.

— Но это встречается реже, чем тебе кажется. Большинство не лжет сознательно. Большинство просто живет среди готовых фраз и берет их на прокат, как пальто в гардеробе.

Учитель ушел, а Илья еще долго стоял у окна. Ему не хотелось признавать правоту старика. Правота, в которой есть милость к другим, всегда труднее голой разоблачительности. Разоблачить легче. Для этого достаточно гордости. А понять без оправдания — нужна выносливость, которую он в себе тогда не находил.

В том же месяце десятиклассников заставили участвовать в конкурсе чтецов. Тема была зыбкая: «Мой голос в истории города». Ученики стонали, смеялись, выменивали друг у друга стихи, искали в районной библиотеке тексты попышнее. Илья хотел отказаться. Но классная сказала:

— Ты у нас умеешь держать паузу.

Эта похвала прозвучала так, точно пауза — разновидность дисциплины.

Он написал свой текст сам. Не о городе-герое, не о славе, не о людях труда. О дворе, где зимой скрипит снег под ранними шагами дворника; о кухнях, где с утра гремят кружки; о больничном окне, которое видно с трамвайной линии; о слепом настройщике пианино, жившем в соседнем доме. Город слышен прежде, чем виден: калитка, гаражная ругань, голос продавщицы, повторяющей одно и то же слово сотый раз за день, пока оно к вечеру не теряет смысл. Вот она, правда места — привычный шум, не герб, ставший внутренней погодой.

Классная прочла и побледнела.

— Это слишком бытовое.

— А город не бытовой?

— Не ерничай. Здесь нет главного.

— А что главное?

— Дух времени, — сказала она, сама не веря себе.

— Он в трамвае хуже всего пахнет, — ответил Илья.

Его выгнали из кабинета на весь урок. В коридоре он сначала злорадствовал. Потом пришло усталое равнодушие. Спорить приходилось не с людьми, а с инвентарем: у каждого учреждения был свой склад готовых слов. С ними нельзя победить. Они не живые, а потому неуязвимые.

Через два дня его вызвала директриса. Кабинет у нее был широкий, пустой, со стеклянным шкафом, где стояли кубки, которые давно никого не радовали. Директриса говорила мягко, как говорят взрослые, когда хотят подавить без шума.

— Илья, ты способный юноша. Но есть моменты, когда талант должен работать на общее, а не на частное впечатление.

— Разве частное впечатление не из общего состоит?

— Ты опять споришь формулировками.

— Я не спорю. Я спрашиваю.

— Иногда это одно и то же, — сказала она и улыбнулась.

Он увидел, что улыбка у нее не связана с лицом. Улыбались только губы. Глаза в это время подсчитывали, сколько еще усилий потребует мальчик с неправильной интонацией.

— Зачем вам мой текст, если у вас уже есть нужный?

— Не надо так ставить вопрос.

— А как нужно?

— Нужно понимать ответственность момента.

Текст ему заменили. Он вышел на сцену и прочел чужие слова ровно, чисто, без единой ошибки. Публика хлопала. В первом ряду сидели ветераны труда, библиотечарши, методисты, родители. Илья смотрел в зал и чувствовал, как все это проходит сквозь него, не касаясь. Сцена хорошо учит отчуждению: произносишь фразы, которые должны волновать, и одновременно замечаешь, что у женщины в третьем ряду сполз чулок, мужчина у стены клует носом, кто-то шепчет соседке про цены на картошку. Хлопают не тебе, а самой правильности происходящего. Человека на сцене любят, пока он совпадает с ожиданием.

После выступления к нему подошла одноклассница Лена Гуреева, белокурая девочка с насмешливым ртом.

— А твой текст был лучше, — сказала она.

— Ты не читала.

— Мне Светка из учительской показала. Там хоть люди были.

— А тут?

— Тут — слова.

Он впервые посмотрел на Лену как на отдельного человека, не как на часть школьного пейзажа. Ему стало неловко, как бывает, когда тебя внезапно увидели в месте, где ты привык быть прозрачным.

— Почему тогда все хлопали?

— Потому что все знают, когда надо хлопать, — сказала она.

— Это самое легкое знание.

Они пошли вместе до трамвайной остановки. Лена говорила быстро, проверяя, выдержит ли он чужую скорость. Она мечтала уехать, учиться на архитектора, строить дома без коридоров, потому что коридоры унижают человека одним своим видом. Илья впервые за долгое время слышал рядом человека, не роль. Но это длилось недолго. Через неделю Лена на перемене, при подругах, сделала вид, что их разговор ничего не значил. Она улыбнулась ему чужой школьной улыбкой, рассчитанной на свидетелей. Живым человек выдерживает себя недолго, особенно при свидетелях. При посторонних всем нужна кожа.

Праздник закончился буднично: плакат сняли, грамоты раздали, фотографии повесили на стенд и забыли. Илья задержался у пустой сцены, где еще пахло пылью, краской и чужими торжественными словами. Картонная набережная стояла боком, фанерный фонарь покосился, на полу валялась мятая лента от декорации.

Весна тем временем вошла в город шумно и некрасиво. Снег таял не сверху вниз, а сразу со всех сторон. Во дворах образовывались лужи с бензиновой радугой, в подворотнях пахло сырым деревом и кошачьей мочой, по утрам из открытых окон доносились ссоры, словно мороз всю зиму копил чужую злость и теперь отпустил. Илья шел по улицам и все острее чувствовал: говорить правду легче в тишине. В шуме она расплющивается, как тонкое стекло под сапогом.

Любая важная мысль в многолюдном месте быстро становится либо позой, либо шуткой, либо поводом для драки.

Однажды после уроков он зашел в пустой актовый зал. На сцене еще стояли картонные декорации — кусок нарисованной набережной, фанерный фонарь, скамейка. Из-за кулис тянуло холодом. Он сел в темном ряду и вдруг ясно представил себе, как вся жизнь может пройти в таких залах: кто-то будет ставить людей по местам, распределять голоса, усиливать нужные, приглушать лишние, а потом называть это гармонией. От этой мысли ему стало почти дурно. Он ненавидел не музыку и не сцену. Он ненавидел порядок, в котором согласованность ценится выше подлинности.

Семен Игнатьевич нашел его и там.

— Прячешься?

— Нет.

— Тогда что делаешь?

— Смотрю.

Учитель сел рядом, хотя вокруг было сколько угодно свободных мест.

— Это опасное занятие.

— Смотреть?

— Нет. Делать из увиденного последние выводы.

Илья усмехнулся.

— А вы всю жизнь живете без окончательных выводов?

— Живу с ними, — ответил Семен Игнатьевич.

— Просто стараюсь не путать их с приговором.

Он вынул из кармана две карамели и одну молча положил на сиденье между ними. Это был жест из тех старомодных, почти нелепых, которые почему-то надолго остаются в памяти. Уважение оказалось тихим. Оно не требует свидетелей.

— Вам нравится хор? — спросил он.

— Терпеть не могу, — сказал учитель.

— Тогда почему вы ничего не говорите?

— Кому?

— Ну... Всем.

— Потому что не всякая правда обязана быть громкой. И потому что людям иногда нужен хор, чтобы не слышать пустоту.

В день самого концерта в школе случилась мелкая, почти смешная история, которую потом никто, кроме Ильи, не запомнил. Перед выходом хора младшая девочка из шестого класса расплакалась за кулисами: потеряла белый бант. Все засуетились, завуч зашипела, кто-то бросился искать, а девочка повторяла: «Меня не пустят, меня не пустят». Илья снял с бутфорского фонаря узкую белую ленту, которой был привязан картонный флаг, и молча завязал ей на волосах. Девочка перестала плакать сразу. Ей оказалось достаточно, что ее катастрофу заметил кто-то еще.

Хор вышел, спел, поклонился, получил цветы из районного отдела культуры и три коробки дешевых конфет. На фотографии потом все выглядели счастливыми. Илья тоже. Он стоял во втором ряду с ровным лицом и чуть приподнятым подбородком. Тот, кто не знал его, мог бы сказать: уверенный юноша, будущее города. Но под ребрами уже росла другая биография, еще без событий, зато с упрямым знанием: он не принадлежит тем местам, где человека просят совпасть с декорацией.

Вечером дома мать развернула его грамоту, прочла, положила обратно.

— За что дали?

— За выразительное чтение.

— А ты выразительно читал?

— Чужое.

Мать кивнула.

— Это у тебя лучше всего получается.

Он вскинулся:

— Что именно?

— Выдерживать чужое и не становиться им до конца.

Он хотел обидеться, но мать уже свернула грамоту трубкой и постучала ею по краю стола, будто проверяла, не полая ли. Потом положила обратно и, не глядя на него, спросила, ел ли он суп.

Ночью, когда в доме наконец стихло, за стеной запел мужчина. Голос был хриплый, пьяный, без слуха, зато живой: нота спотыкалась, слово терялось, певец сам себя перебивал смешком. Илья лежал, не двигаясь. Мать на кухне тихо переставила чашку, вода в трубе булькнула и пропала. Мужчина за стеной дотянул последнюю строчку кое-как и замолчал.

III. Белые руки Антонины Степановны

Антонина Степановна жила в третьей комнате длинной коммунальной квартиры, там, где коридор уже терял уверенность и шел к окну с видом на пожарную лестницу. Ее дверь открывалась туго, потому что пол в этом месте просел и разбух от вечной сырости. За дверью у нее пахло сушеными яблоками, старым мылом, утюгом и чем-то церковным, хотя в комнате не было ни одной иконы. Может быть, этот запах давали не вещи, а порядок. Истинный порядок всегда напоминает молитву: он не объясняется выгодой и не требует свидетелей.

Илья сначала бывал у нее по делу. Поднести угольный утюг. Повесить выстиранные занавески. Сходить в аптеку за каплями. Потом стал заходить просто так. Она не зазывала его, не угощала лишним, не делала вид, что любит детей. Ей было чуждо это сладкое бабье жеманство, когда старость покупает право на власть через ласку. Она разговаривала с ним как со взрослым, которому пока не хватает лет, но уже хватает слуха. Этого хватало сильнее любых добрых жестов.

Комната у нее была узкая, но устроенная так, что каждый предмет уже ответил за свое право стоять здесь. На подоконнике — две герани, никогда не цветущие одновременно. На спинке стула — темный шерстяной платок с вытертым углом. Над кроватью — фотография молодого мужчины в фуражке речника; лицо у него было светлое, упрямое, как у тех людей, которые еще не знают, сколько в них лишней надежды. Рядом на стене висел небольшой коврик с оленями, потерявшими от времени половину своих лесов. На комод лежали пуговицы в жестяной коробке, письма в тесемке, очки в футляре и нож, которым она чистила яблоки так медленно, точно работала по живому.

— Это муж? — однажды спросил Илья, глядя на фотографию.

— Первый, — сказала она.

— А второй?

— Второй был без фотографии. Значит, и рассказывать не о чем.

Она умела рубить прошлое на точные куски. Ни вдоха, ни паузы. Точно не жизнь вспоминала, а курицу разделывала. В этой сухости было больше правды, чем в чужих украшенных рассказах.

Иногда она рассказывала такие вещи, которые в устах другого взрослого прозвучали бы нравоучением. У нее — нет. Потому что она не выводила правил. Она констатировала.

— Мужчина больше всего врет себе рядом с женщиной, не женщине, — сказала она как-то, штопая носок.

— Потому и женятся так часто без головы. Им кажется, что новый человек отменит старого. А старый как сидел внутри, так и сидит.

В другой раз:

— Доброта без брезгливости редко бывает умной. А ум без жалости — почти всегда сволочь.

Он тогда рассмеялся. Слово прозвучало неожиданно грубо для ее белых рук, для гераней, для тихой комнаты.

— Что смеешься?

— От вас не ожидал.

— От кого — от меня?

— Ну... Вы такая.

— Какая?

— Спокойная.

— Спокойные хуже всех и ругаются, мальчик. Только не тратьте этого на всякую мелочь.

Была у нее странная привычка: по воскресеньям она надевала лучшее платье, застегивала брошь с мутным камнем и садилась у окна, не выходя из комнаты. Так сидела часами. Не читала, не шила, не ела семечки. Смотрела во двор. Илья однажды не выдержал:

— Вы кого-то ждете?

— Никого.

— Зачем тогда наряжаться?

— Затем, что человек хотя бы себе должен иногда являться не в остатках.

Если человека никто не ждет, он легко перестает быть видимым даже для себя.

Когда мать заболела или бралась за срочный заказ, Илья сидел у Антонины Степановны дольше обычного. Она могла научить его таким вещам, которых не учили дома и тем более в школе: как сушить промокшие ботинки, набив их луковой шелухой, не газетой, чтобы не воняли; как по звуку кипящей воды определить, пора ли класть гречку; как отличить у человека настоящую тревогу от желания вызвать жалость. Последнее, по ее словам, было самым важным умением.

— Жалость — самый дешевый способ управлять чужими руками, — говорила она.

— Ты это запомни. Помогать надо. Но не всякому плачу верить.

Ее первый муж, тот самый речник с фотографии, утонул весной на притоке, когда тронулся лед. Она сказала это однажды так просто, как сообщают цену на керосин. Илья не сразу поверил, что за такой короткой фразой может стоять целая жизнь.

— Вы его любили?

Антонина Степановна задумалась.

— Я с ним была молода. Это другое.

Он ждал продолжения, но его не последовало. Тогда он спросил:

— А второй?

— Второго я поняла слишком хорошо.

— И что?

— И ничего. Когда понимаешь человека до костей, жить с ним трудно. Пока есть загадка, еще можно приписать ему лучшее. А когда видишь, из чего он сделан, приходится выбирать: или смириться, или уйти.

— Вы ушли?

— Нет. Это он ушел. Слабые мужчины всегда уходят первыми, чтобы сохранить за собой право считать, как выбрали.

Осенью в коммуналке случился скандал из-за кухни. Скандалы там вспыхивали часто, но этот был затяжной и неприятный. Соседка Зина обвинила Антонину Степановну, что та «занимает общую плиту своими яблочными сушками и вечными кастрюльками». К спору сразу прилипли и другие: кто-то припомнил старый таз, кто-то — место в шкафу, кто-то — очередь к раковине.

Антонина Степановна стояла посреди кухни с полотенцем на плече и слушала всех подряд. Лицо у нее было такое спокойное, что от этого спокойствия других разносило еще сильнее.

— Ну что вы молчите? — завизжала Зина.

— Вам сказать нечего?

— Есть, — ответила Антонина Степановна.

— Но пока не стоит.

Это только раззадорило. Илья, сидевший в коридоре над тетрадами, слышал, как повышаются голоса, как кто-то хлопнул дверцей буфета, как мать пытается прекратить базар, как вода в чайнике забыла о себе и выкипела. Потом настала тишина. Антонина Степановна наконец заговорила. Тихо. Настолько тихо, что все замолчали, чтобы не пропустить. Вот это он запомнил навсегда: громкость не дает власти, если за ней пусто.

— У вас, Зина, не плита болит, — сказала Антонина Степановна.

— У вас муж третий день не ночует дома, а вы хотите, чтобы кто-нибудь оказался еще более виноват, чем он. У вас, Павел Петрович, не шкаф тесный, а пенсия маленькая. Но пенсию вы ругать не умеете, потому что она без лица. А меня умеете. И у тебя, Лидия, — повернулась она к матери Ильи, — не кухня надоела, а то, что ты уже десять лет ни у кого ничего не просишь и потому думаешь, что остальные тоже должны сами справляться. Не должны. Не умеют.

Никто не ответил сразу. Кухня как стала меньше. Илья сидел, не двигаясь, и знал: за стеной сейчас все ненавидят Антонину Степановну. Не за ложь — за точность. Она ударила по скрытой пружине, не по общему предмету. На людях такое не прощают: грубость еще стерпят, вскрытие — нет.

Вечером он зашел к ней.

— Зачем вы это сделали?

— Что именно?

— Сказали им.

— Они сами спрашивали.

— Но теперь они вас съедят.

— Не съедят. Побоятся.

Она сняла с подоконника яблоко, разрежала и подала ему половину.

— Только не думай, что это счастье.

— Что?

— Видеть. Это не счастье. Это просто неудобная способность.

Эту фразу он тоже потом носил в себе много лет. Она объясняла больше, чем целые книги, которые он прочтет позже. Некоторые люди принимают свою пронизательность за заслугу и начинают жить как судьи. Антонина Степановна судить не любила. Она не умела притворяться слепой.

Зимой у нее начались сильные боли в ногах. Ходила она и прежде осторожно, будто проверяла пол на верность, а теперь совсем сдала. Мать стала чаще заносить ей суп, а Илья — носить воду и дрова в комнату. Однажды, когда он принес из магазина хлеб и керосин, она сидела на стуле перед раскрытым комодом. На коленях лежали письма, перевязанные тесемкой.

— Будешь читать, — сказала она.

— Глаза ни к черту.

Это были письма первого мужа. С реки. С пристаней. С ремонтных зимовок. Он писал неумело, со смешными запятыми и старомодной нежностью. Писал, как скрипит лед у борта, как в тумане гудит баржа, как на рассвете мокнут рукавицы, если взять железо без перчаток. Илья читал вслух, а Антонина Степановна сидела, поджав губы. Он ждал слез, хотя бы размягчения лица. Ничего. Только когда дошел до фразы «Если вернусь к ледоходу, поставлю тебе новую полку под банки», она вдруг рассмеялась коротко и сердито.

— Полку. Дурак. Я тогда думала, жизнь впереди такая длинная, что можно любить за будущую полку.

Он осторожно спросил:

— А разве нельзя?

— Можно, пока молод. Молодые вообще любят за будущее. Старые — только за то, как человек держит чашку, когда у тебя дрожат руки.

Как-то вечером она попросила достать коробку с верхней полки шкафа. В коробке оказались не деньги, аккуратно сложенные мужские вещи, не документы: воротничок, ремешок от часов, старая бритва, театральная программка, билет на речной пароход, фотография девочки в темном пальто. Илья удивился.

— Это кто?

— Я.

Он взгляделся и не узнал. Лицо было тоньше, глаза темнее, рот почти веселый.

— Странно.

— Что?

— На вас не похоже.

— Конечно. На молодых никто не похож. Молодость — это обещание, а не лицо.

Она попросила вернуть коробку на место и долго после этого молчала. Потом сказала:

— Не давай никому превращать себя в удобную вещь. Это сначала кажется пустяком.

Человек думает: ладно, уступлю тут, промолчу там, сыграю роль здесь. А потом смотрит — и вся жизнь чужими руками выглажена.

— А если иначе нельзя?

— Иначе всегда можно. Дороже.

Слово «дороже» прозвучало особенно твердо. Антонина Степановна говорила о нравственных вещах так, точно речь идет о цене дров или сапог. Илью это убеждало сильнее любого пафоса. Когда о совести начинают говорить высоко, в ней сразу чувствуется подделка. Совесть вообще вещь низовая, почти бытовая.

Весной она сломала чашку. Обычная глиняная чашка с синей полоской по краю, из которой пила вечерами чай. Чашка выскользнула у нее из пальцев и раскололась на три крупных осколка. Илья сразу нагнулся, хотел собрать, склеить, хоть чем-то спасти. Антонина Степановна остановила:

— Не надо.

— Почему? Склеим.

— И что будет?

— Будет чашка.

— Нет. Будет треснувшая вещь, которую станешь жалеть больше, чем пользоваться.

Он замер с осколком в руке. Ему показалось, что она говорит совсем не о чашке.

— Так все и надо выбрасывать?

— Нет. Людей не выбрасывают. Но надо знать, что склеенное пьет иначе.

Он запомнил эту фразу и потом уже не пытался ее растолковать до конца.

В мае Антонина Степановна слегла совсем. Врач из поликлиники приходил неохотно, слушал ее спину, что-то записывал, говорил «возраст» таким тоном, как этим словом можно объяснить весь развал мира. Она не жаловалась. От жалоб человек уменьшается у себя в глазах быстрее, чем от болезни. Но однажды ночью позвала Илью, потому что не могла дотянуться до воды.

Он подал стакан. Она выпила, отдышалась и сказала:

— Самое страшное не умирать.

— А что?

— Становиться для всех смыслом их доброты.

Он не сразу понял.

— Это как?

— Когда за тобой ухаживают не из-за того, что ты еще есть, а потому, что им надо быть хорошими.

Он вспомнил похороны дворника, школьные аплодисменты, жалостливые голоса заказчиц возле больной матери.

Она прожила еще три месяца. За это время соседи неожиданно стали с ней ласковее. Носили бульон, спрашивали про самочувствие, приносили газеты. Даже Зина заглядывала и говорила сладким голосом:

— Вы только поправляйтесь, Антонина Степановна, без вас квартира не та.

Илья видел, как в этих словах смешаны и страх, и искренняя тревога, и желание быть хорошей перед собственной совестью.

Антонина Степановна однажды, когда Зина ушла, сказала:

— Не сердись на них.

— Я не сержусь.

— Врешь.

— Немного.

— Зря. Люди перед смертью другого всегда суетятся не от подлости. Им страшно, что следующий — они.

Она лежала, глядя в потолок, и белые руки уже не казались крепкими. В них появилась бумажная хрупкость.

— А вы боитесь?

— Поздно бояться, — сказала она.

— Страх хорош заранее. Потом уже счет.

Последний их разговор произошел в августовский полдень, когда жара сделала квартиру особенно мучительной. Воздух в коридоре был густой, как суп, и пах всем сразу: селедкой, хлоркой, горячим железом, пылью. Илья сидел у нее на табурете, читал вслух статью из старого журнала о том, как строят маяки. Ей нравились такие вещи — без сюжета, без чужих любовей, просто точная работа рук и материалов. На фразе о том, что для маячной оптики важнее всего чистота стекла, она его остановила.

— Вот и с человеком так.

— В каком смысле?

— Не свет важен. Стекло.

Он поднял глаза.

— То есть?

— Через грязного человека любая правда пройдет криво. Даже если он добрый. Даже если умный. Все исказит собой. Поэтому за душой надо следить, как за стеклом. Не для Бога, не для людей.

Он хотел ответить, но не нашелся. В комнате было слышно, как за стеной кто-то двигал табурет.

Через три дня ее не стало. Умерла утром, без крика, точно вышла в соседнюю комнату. Соседи сразу зашуршали, забегали, достали табуретки, покрывало, тарелки, кто-то уже звонил дальней родственнице. Мать, побледнев, застегивала на покойнице платье с брошью. Илья стоял в дверях и чувствовал не столько горе, сколько осиротевшую тишину: из квартиры вынули ту единственную точку, где правде не требовался повышенный голос.

На поминках говорили много. Что она была тихая. Что хозяйственная. Что никому не мешала. Что сейчас таких нет. Илья сидел у края стола, разламывал черный хлеб на мелкие куски и не ел. Зина все поправляла салфетки, Павел Петрович дважды спросил, кто возьмет ее утюг, и оба раза делал вид, что говорит не об этом.

После поминок, когда все разошлись, Илья зашел в ее комнату. Вечер лег на вещи тонкой пылью. На столе стояла чужая чашка, поставленная второпях. Фотография речника на стене потемнела. Он взял с подоконника герань, подержал горшок двумя руками и не нашел, куда его поставить.

В коридоре уже спорили о шкафе. Зина шепталась с мужем про «самую маленькую комнату», кто-то в кухне звякнул крышкой кастрюли. Илья вышел, поставил герань на табурет у стены и услышал, как за дверью Антонины Степановны тихо скребется сквозняк.

В ту ночь он сел у окна, где раньше сидела она. Пожарная лестница чернела, как ребра. В соседнем доме играла свадьба; музыка доходила обрывками, точно ее жевали за стеной. На подоконнике осталась россыпь семечек. Илья собрал их ладонью, ссыпал в блюдце и выключил свет.

IV. Первый отказ

В первый рабочий день Илья пришел в районное бюро учета жилого фонда с мокрыми ботинками и тетрадью под мышкой. Вахтерша посмотрела на него поверх очков, протянула ключ с деревянной биркой и сказала: «Третий кабинет, только дверь ногой придерживай, заедает». После школы он никуда не уехал: денег не было, мать быстро уставала, а в техникум на вечернее отделение он поступил больше ради отсрочки от пустоты, чем ради специальности. Днем теперь сидел среди актов, жалоб и домовых книг.

Бюро размещалось в бывшем купеческом доме с облупленной лепниной. Входная дверь заедала, окна выходили во двор-колодец, где даже летом стояла какая-то административная сырость. В коридорах висели стенды с пожелтевшими объявлениями, и каждый лист на них обещал порядок тем людям, которым порядок никогда не доставался. В приемной с утра сидели заявители: женщины с папками, старики с узелками документов, мужчины с настороженным подбородком, многодетные матери с детьми, измотанные квартирными обманами. Все они приходили не за справкой — за признанием того, что им тесно, опасно, сыро, невозможно. Но учреждение умело превращать любое человеческое «невозможно» в правильную форму заявления.

Илью взяли потому, что у него был четкий почерк и молчаливый вид. Для контор это почти идеальный набор. Человек, который пишет разборчиво и не шутит, кажется надежным. Начальником отдела был Стрельцов — толстый мужчина с рыбьими веками и привычкой во время разговора приглаживать галстук так, точно тот может сказать лишнее. Он любил порядок не как красоту, а как способ никого не подпускать к сути. В каждом деле он сначала искал пункт инструкции, не решение, за который можно спрятаться.

— Главное, Арсеньев, — объяснил он в первый же день, — в нашей работе не путать сочувствие с документом. Сочувствовать можно сколько угодно. Документ должен быть без чувств.

Илья тогда еще не нашелся что ответить, но сразу почувствовал подвох. Бумага, очищенная от живого, быстро делается жестокой.

Работа у него была монотонная. Заполнять карточки. Переписывать акты осмотра. Вносить изменения в домовые книги. Сверять площади, даты, подписи. Дни шли под шелест бумаг и стук печатной машинки, за которой сидела Раиса Павловна, женщина неопределенного возраста с ослепительно красными ногтями и даром знать все обо всех уже к обеду. Она жевала карамель и говорила:

— Люди такие смешные. Каждый приходит так, точно у него единственная беда в городе.

Илья не спорил. Беда и должна быть для человека единственной, пока она его грызет. Это со стороны все жалобы складываются в статистику. Изнутри каждая дырка в потолке — личное небо, которое валится именно на тебя.

Вскоре он разобрал устройство бюро. Существовали две реальности. В одной жили люди: от сырости гнили детские ботинки, из щелей дуло, старики падали на разбитых лестницах, соседи годами воевали за половину кладовки. В другой лежали акты, справки, сроки, комиссии и журналы регистрации. Эти реальности встречались на столе чиновника. Там человеческое «невозможно» переводили на язык допустимого — и уже почти обезвреживали.

Иногда к нему попадали жалобы, которые он не мог забыть после работы. Например, письмо от женщины из барака у трамвайного кольца: «Вода течет с потолка круглый год, не по весне, ребенок кашляет синим кашлем, просим признать комнату непригодной». Или заявление старика, который просил выделить ему отдельное место не из-за тесноты, а потому, что сын ночью бьет невестку, а он все это слышит и не может ничего сделать. В таких просьбах люди почти никогда не пишут главное прямо. Главное выступает в косвенных деталях, как

кровь проступает через бинт. Синий кашель. Отдельное место. Невозможность спать. Заявитель боялся собственной правды и выносил в бумагу только край.

Илья стал читать внимательнее, чем требовалось. Он замечал, какие слова люди выбирают от стыда, страха или усталости просить. Стрельцов быстро это заметил.

— Не надо так вникать, Арсеньев.

— Почему?

— Потому что у нас не исповедь.

— А что?

— Учет.

— Учет чего?

— Жилищного фонда, — сухо сказал Стрельцов и закрыл папку ладонью, точно в самом названии был последний аргумент.

Однажды в отдел пришла женщина по фамилии Шелудякова. Тридцати пяти лет, может быть, меньше; у бедных женщин возраст стирается по скуле, а не по паспорту. На ней было мужское пальто с перешитым воротником, а в руках — бумажный пакет, из которого торчали фотографии. Она стояла у Ильиноного стола и говорила тихо. Тихо говорят когда уже слишком много раз кричали без толку, не от слабости.

— У нас потолок в кухне просел. Я писала. Приходили. Сказали — наблюдать. А вчера штукатурка ребенку на голову упала.

Она вынула фотографии. На снимках был темный угол комнаты, раскладушка, таз, трещина над окном, похожая на молнию, и затылок мальчика с бинтом.

— Комиссия составила акт? — спросил Илья.

— Составила.

— И что там?

— «Текущий ремонт». Только ремонт они третий год пишут. А жить там страшно уже сегодня.

Он поднял дело. Акт осмотра был составлен неделей раньше. Подписи, печати, заключение: «Несущие конструкции повреждений не имеют, следы протечки локальны, проживания не препятствуют». Илья посмотрел на фото еще раз. Даже по фотографии было видно: потолок держится привычкой, а не строительством.

— Кто осматривал?

— Комиссия от ЖЭУ. Двое. Один высокий, другой с усами.

— Подождите, — сказал Илья.

Он пошел к Стрельцову. Тот читал газету, отставив ее на вытянутых руках.

— Тут акт явный липовый.

— У нас нет липовых актов.

— Тогда ошибочный.

— Тем более не наше дело. Оспаривает — пусть подает повторно.

— У них ребенку на голову штукатурка упала.

— Штукатурка — не несущая конструкция, — сказал Стрельцов.

Илья почувствовал, как внутри поднимается холодная злость. Не горячая, не сиюминутная. Холодная — самая опасная. Она не ищет драки. Она ищет точку, которую нельзя уступить.

— А когда плита рухнет, будет что? Несущая?

Стрельцов аккуратно сложил газету.

— Арсеньев, вы слишком молоды, чтобы разговаривать со мной таким тоном.

— Тогда скажите другим тоном.

— Каким?

— Человеческим.

В кабинете стало тихо. Даже печатная машинка Раисы Павловны на секунду смолкла за дверью, словно и у железа есть инстинкт не мешать в минуту настоящего столкновения.

Стрельцов поднялся. Ростом он был невысок, и от этого особенно берег начальственный объем.

— Еще раз повторяю. Есть процедура. Если по каждому плачу бегать с душой наперевес, учреждение можно закрывать.

— Может, тогда и открыть не стоило.

— Вон, — сказал Стрельцов тихо.

Илья вышел, но не сел за стол. Вернулся к женщине.

— Оставьте фотографии и копию медсправки.

— Вы можете?

Он честно ответил:

— Не знаю. Попробую не дать им спрятаться за бумагу.

Дело Шелудяковой вошло в его жизнь, как заноза: маленькое, но постоянно отзывающееся при каждом движении. Он поднял старые заявления по этому адресу. Их оказалось шесть за два года. Все с одинаковыми формулировками, как жильцы либо сговорились, либо так долго оставались не услышанными, что выучили чиновничий язык по образцу отказов. Он нашел прошлогоднюю запись сантехника: «Влага постоянного характера». Нашел помету участкового врача о бронхите у ребенка. Нашел, наконец, внутреннюю записку мастера ЖЭУ: «Требуется обследование перекрытий в связи с угрозой обрушения штукатурного слоя и частичного прогиба». Записка была подшита не туда, почти спрятана между неважными бумагами.

Вечером дома он не мог есть. Мать заметила.

— Что случилось?

Он рассказал. Она слушала, не перебивая.

— И что будешь делать?

— Не знаю.

— Знаешь.

— Если скажу, что знаю, выйдет красиво. А красиво тут ничего нет.

— Красиво и не нужно, — ответила мать.

— Нужно, чтобы ты потом мог спать.

Сон в ту ночь действительно стал мерой. Он лежал и думал: если подпишет повторную бумагу, если закроет глаза, если скажет себе «не мое дело», рухнет не только чужой потолок. Есть такие мелкие уступки, после которых человек не меняется сразу внешне — ходит, говорит, работает, шутит, — но под ребрами появляется липкий налет. Потом все следующие решения будут приниматься уже через этот налет.

Наутро он сделал то, чего от него никто не ждал. Написал служебную записку на имя заведующего районным отделом коммунального хозяйства, приложил копии фотографий, медсправку и внутреннюю записку мастера, которую подшил как приложение. Формулировал сухо, почти безэмоционально. Он уже понимал: в системе сильнее всего действует точность, не крик, которой нельзя придаться грамматически. В записке было главное: несоответствие заключения комиссии фактическим данным, угроза здоровью несовершеннолетнего, необходимость внепланового обследования. В конце он поставил подпись. Свою. Не «по поручению». Не «исполнитель». Просто — Арсеньев.

Раиса Павловна, увидев бумагу, ахнула так театрально, словно он принес на работу гранату без чеки.

— Ты что, совсем?

— Пока да.

— Ты же себя подставляешь.

— Если бумага правильная, что в ней подставного?

Она посмотрела на него как на человека, который путает жизнь с учебником.

— Бумаги, милый, бывают правильные по тексту и неправильные по обстоятельству.

Записка ушла наверх. Через два дня в бюро приехала проверка. В коридоре запахло мокрыми пальто и чужой властью. Стрельцов ходил темнее тучи, галстук у него сбился на сторону. Раиса Павловна перестала жевать карамель. Все говорили шепотом, как в доме, где кто-то вот-вот умрет или уже умер, но еще не объявили.

Проверяющий, сухой человек с вежливой жесткостью в голосе, вызвал Илью отдельно.

— Вы понимаете, что нарушили служебную субординацию?

— Я передал сведения по существу.

— Без согласования с начальником.

— Начальник отказался реагировать.

— У вас есть свидетели этому отказу?

— Нет.

— Значит, по документам его нет.

Эта фраза почти развеселила Илью своей голой откровенностью. Вот оно. Нет на бумаге — нет и в мире. Бумага как единственный рай для уклончивых. Он ответил:

— Зато есть фотографии.

— Мы их видели. Внеплановое обследование назначено.

Казалось бы, цель достигнута. Но дело было не в цели. В тот же день Стрельцов вызвал его к себе.

— Вы добились своего. Поздравляю. И что дальше?

— Дальше? Если потолок опасный, людей надо переселить хотя бы временно.

— Вы невыносимо наивны.

— Возможно.

— Нет, не возможно. Точно. Вы думаете, учреждения существуют, чтобы решать беды? Учреждения существуют, чтобы беды распределять по папкам. Иначе они захлебнутся.

— А люди?

— А люди всегда думают, что их случай исключительный. Так нельзя работать.

Илья стоял напротив и понимал страшную вещь: Стрельцов не чудовище. Он даже не особенно подл. Он давно заменил совесть технологией выживания. В этом и была подлинная опасность. Зло, ставшее привычкой управления, уже не чувствует себя злом. Оно называется опытом.

— Напишите объяснительную, — сказал Стрельцов.

— Почему передали материалы минуя непосредственного начальника.

— Не буду.

— Это приказ.

— Тогда тем более не буду.

Первый раз в жизни он отчетливо увидел, как его собственное «нет» встает между ним и другим человеком как предмет. Тяжелый, твердый, уже непереносимый назад. До этого он возражал, спорил, язвил, упрямялся. Сейчас случилось другое. Отказ перестал быть реакцией. Он стал фактом.

Стрельцов долго смотрел на него и наконец произнес почти с жалостью:

— Вам кажется, что совесть — это поступок. Нет, Арсеньев. Совесть — это привилегия тех, у кого нет ответственности за механизм.

— Значит, механизм плохой.

— Механизм единственный.

Илья вышел с этим словом в ушах: единственный. Единственная работа. Единственный порядок. Единственный путь. Единственная возможная форма.

Через неделю его перевели в архивный подвал — «временно, в связи с перераспределением обязанностей». Формулировка была идеальна: никакого наказания, одна чистая канцелярия. Подвал оказался низким, с трубами под потолком и вечной каплей в дальнем углу. Там хранились старые домовые книги, карточки обменов, списанные акты, дела умерших жильцов, исчезнувших, съехавших, отселенных. Архив пах плесенью, пылью и забытой нуждой. Место казалось почти честным. Бумага, переставшая кого-либо защищать, становилась бумагой.

Илья работал там один. Сперва решил, что его изолировали. Потом понял: дали место, где контора уже не притворяется заботой. В архиве все было яснее. Тут не обещали исправить чужую жизнь. Тут просто фиксировали, как она проходила мимо ведомостей.

Он стал читать старые дела по вечерам, уже после работы, из любопытства и от одиночества. По бумагам можно было видеть не хуже, чем по лицам. Вот семья, которую пять раз переселяли по коммуналкам, пока муж не умер и вопрос не снялся естественным образом. Вот женщина, десятилетиями добивавшаяся отдельной комнаты для сына-инвалида; в конце папки — короткая запись: «В связи со смертью нуждаемость отпала». Вот жалоба на соседа, который «ведет аморальный образ жизни», а под ней несколько лет спустя акт о самоубийстве заявительницы. Бумаги говорили сухо, но между строк там стояла такая степень человеческой немоты, что у Ильи иногда кружилась голова. Люди писали государству, соседям, начальству, комиссиям — кому угодно, лишь бы не тем, с кем жили через стену.

Шелудяковых переселили временно в маневренный фонд на окраине. Ничего хорошего в этом жилье не было: бывшее общежитие, общая кухня, тонкие двери. Но крыша там не падала. Женщина однажды пришла поблагодарить Илью. Принесла пакет яблок.

— Не надо, — сказал он.

— Возьмите.

— Я не за яблоки.

— Я знаю.

Она помолчала.

— Вы первый, кто прочитал до конца.

Эти слова ударили неожиданно. Не «помог», не «спас», не «решил». Прочитал до конца.

Но маленькая победа ничего не изменила в его положении. Через месяц ему предложили написать заявление «по собственному желанию в связи с продолжением образования», то есть уйти красиво и без шума. Стрельцов вызвал его в кабинет и говорил мягко, почти отечески:

— Вы не наш человек. Это надо признать без взаимных обид. Вам бы где-нибудь в науке, в библиотеке, в литературе. Здесь вы сломаетесь.

— Или не ломаюсь.

— Тогда станете опасны и для себя, и для других.

— Для кого — для других?

— Для тех, кто пришел работать, а не устраивать нравственные эксперименты.

Илья усмехнулся. Нравственным экспериментом теперь называлось нежелание подписывать фальшь.

— Пишите заявление, — сказал Стрельцов.

— Я, в свою очередь, дам хорошую характеристику.

— А если не напишу?

— Найдем формулировку похуже.

— Ладно, — сказал он.

— Напишу.

— Вот и прекрасно. Учитесь гибкости, Арсеньев.

Он вышел из кабинета, сел за стол и долго смотрел на чистый лист. «Прошу уволить меня по собственному желанию...» Рука не поднималась. Дело было не в месте. Не в жаловании. Не в карьерной обиде. Дело было в самой фразе «по собственному». Она требовала солгать

о причине ухода. Сделать вид, что решение принадлежит ему, что все произошло мирно и в пределах нормального движения жизни. А он уже знал: такие мелкие официальные лжи приучают человека предавать себя без драматизма. Самые опасные предательства всегда тихие, с канцелярской вежливостью.

Он встал, пошел к окну. Во дворе-колодце курил дворник в оранжевой жилетке, плюц по стене уже брался за осень, какая-то женщина тащила за руку мальчика и одновременно ругалась по телефону. Обычная жизнь. Та самая, за которую все якобы работают. Илья вдруг ясно почувствовал: если сейчас подпишет, дальше будет легче. Легче не в хорошем смысле. Каждая следующая уступка будет требовать меньше внутреннего сопротивления.

Он вернулся к столу и написал другое. «От объяснительной отказываюсь. Считаю передачу материалов по делу семьи Шелудяковых обоснованной ввиду угрозы жизни и здоровья проживающих. Заявление об увольнении по собственному желанию писать отказываюсь». Подпись. Дата.

Раиса Павловна, увидев бумагу, перекрестилась каким-то театральным, но все же искренним жестом.

- Господи, упрямый ты человек.
- Пока да.
- Тебя же выкинут волчьим билетом.
- Не знаю.
- Знаешь.

Его действительно уволили. Формулировка была некрасивой: «за нарушение служебной дисциплины и несоблюдение порядка документооборота». Мать прочла приказ и только пожала плечом.

- И что теперь?
- Буду искать работу.
- Найдешь.
- Не страшно?
- Страшно, — сказала она.
- Но хуже было бы смотреть, как ты возвращаешься домой и постепенно перестаешь быть собой.

Мать сказала это без нажима и сразу отвернулась к плите. На конфорке дрожал чайник, крышка подпрыгивала от пара. Илья стоял посреди кухни с мокрым воротником и не знал, куда деть руки.

Вечером он вышел гулять без цели. Город после дождя чернел и блестел лужами. На остановках люди держали пакеты, воротники, усталость. Из булочной пахло дрожжами, из распахнутого окна первого этажа — валерьянкой и жареным луком. Илья свернул к реке, хотя обувь уже промокла.

Вода была темная, тяжелая, без блеска. На другом берегу дрожали огни складов. Он достал из кармана смятую бумажку с адресом техникума, развернул, снова сложил. Пальцы дрожали не от холода, хотя холод тоже был.

Далеко прогудел состав. Илья постоял еще немного, потом сунул бумажку обратно в карман и пошел домой вдоль мокрых перил, считая шаги, чтобы не думать о завтрашнем утре.

Глава вторая. Город, который говорит ртом другого

І. Комната учета

На овощной базе ящики били по ладоням, как грубые учебники. Илья разгружал их по ночам, утром переписывал чужие конспекты для заочников, днем относил накладные через весь город. Работы были короткие, грязные, без обещаний. Зато от него не требовали улыбаться нужным словам и делать вид, что бумага честнее человека. Денег все равно не хватало: за хлеб, лекарства матери и проезд город забирал больше, чем отдавал.

Работу ему нашел бывший однокурсник с вечернего — тихий парень по фамилии Гринюк, у которого лицо всегда выглядело так, точно он заранее собирается извиниться.

— В городской больнице нужна регистратора в ночные смены, — сказал он.

— Пишешь ты хорошо. И не грепло.

Так Илья попал в приемное отделение третьей городской, в комнату учета, где ночь никогда не была настоящей ночью. Там круглосуточно хлопали двери, звенели каталочные колеса, пахло йодом, хлоркой, мокрой шерстью, сигаретами из карманов сопровождающих и тем слабым холодом, которым отдает человеческий страх. Больница ночью слышна иначе, чем днем. Днем там ходят шаги, спорят врачи, гремят ведра, кто-то смеется нарочно громко. Ночью остаются крики без свидетелей, стон в коридоре, шелест бумаги, шепот, за которым уже не скрывается приличие, а только усталость.

Комната учета была тесной, с матовым окном в коридор и столом, протертым до белевого дерева на углах. На стене висели часы, которые постоянно отставали на семь минут, точно у больницы было собственное время, более вязкое, чем у города. На полке стояли амбарные книги приема, тяжелые, как семейные Библии у безбожников. В них вписывали фамилии, адреса, диагнозы, время поступления, кем доставлен, в каком состоянии, жив, пьян, без сознания, с переломом, с ножевым, с давлением, с чужой кровью на воротнике. Человеческая беда в книге размещалась по графам. От этого она не становилась меньше, но приобретала видимость терпимости. Когда что-то записано, кажется, как с ним уже можно справиться.

Старшей по приемному была Нина Фоминична, женщина с тяжелой грудью, тяжелыми веками и тяжелым голосом. Она казалась созданной для того, чтобы перекрикивать чужую панику.

— Главное тут, — сказала она Илье в первую ночь, — не путай жалость с растерянностью.

Она умела говорить вещи грубо, но точно. В приемном отделении, как он быстро понял, точность была важнее мягкости. Человек с пробитой головой или старуха, задыхающаяся в приступе, плохо реагируют на сочувственные округлости речи. Им нужен стол, врач, кислород, подпись, номер, койка. Беда любит конкретику.

Ночью в больницу привозили совсем другой город, чем тот, что виден днем из трамвая. Днем город притворяется устроенным: открыты магазины, на людях приличные лица, дети идут в школы, дворники метут листья, бухгалтерии печатают цифры, на рынках взвешивают яблоки и кроликов. Ночью у него открывается черный подклад. Привозят пьяных с проломленными скулами, стариков, забывших собственный адрес, женщин с ожогами от кипятка и слишком спокойным видом, мальчишек после драки у танцплощадки, людей после опасной передозировки, найденных слишком поздно или почти вовремя. Илья быстро заметил, что болезни и несчастья редко приходят одни. Почти за каждым переломом стоит неудачный вечер, за приступом — долгая нищая зима, за ножом — молчание, накопленное в тесной квартире, за внезапной тишиной на каталке — годы того, о чем никто не спрашивал.

Ему нравилось, что в приемном никто не тратит лишних слов. Здесь истина входила на каталке, а не в докладной записке. Человек мог соврать о фамилии, о том, кто его ударил, о количестве выпитого, но тело все равно сообщало больше, чем речь. Расширенный зрачок, поджатый бок, синяк на шее, запах гари от волос. Тело вообще честнее языка. Оно не умеет редактировать себя для комиссии.

Сначала Илья заполнял формы и носил карточки в отделения. Потом стал замечать то, чего не замечали уставшие сотрудники. Кто из сопровождающих боится не за больного, а за скандал. Кто плачет с опозданием, уже когда понял, что его будут считать черствым. Кто делает вид, что все под контролем, потому что иначе распадется прямо на полу. Нина Фоминична однажды сказала ему:

- Ты больно внимательно смотришь.
- Работа такая.
- Нет. Работа тут другая. Смотреть — это уже твое.

Особенно запомнилась ему одна старуха, которую привезли зимой в два часа ночи. Нашли на остановке. Без сознания. В старом пальто поверх ночной рубашки. При ней была сумка с буханкой хлеба, двумя пустыми банками и запиской: «Не закрывайте кота в комнате, он душится». Старуху отогрели, подняли давление, она пришла в себя уже под утро и первым делом спросила закрыли ли кота, не где она. Илья потом долго думал о записке. Человек теряет сознание на скользком тротуаре, а в голове держится кот. Не великое, не итог, не прощание. Кот. В решающую минуту на поверхность часто всплывает не смысл жизни, а то, за что ты отвечаешь руками.

Больница быстро сняла с него прежнюю гордость, с которой он противопоставлял себя толпе. В приемном слишком хорошо было видно, как смешны такие разграничения. Один грубит, потому что боится показаться жалким. Другой — потому что давно жалок и устал скрывать. Третий кричит на медсестру, а через час сидит в коридоре и тихо держит пакет с чужими тапками. Здесь все человеческое проступало вперемешку, не в чистом виде: страх, стыд, дурной характер, нежность, усталость.

В приемном с ним работал санитар Вадим Жуков — широкоплечий, насмешливый, с лицом провинциального актера, которому не досталась сцена. Вадим умел поднимать тяжести одной рукой, успокаивать истерящих родственников двумя фразами и рассказывать такие анекдоты, что даже Нина Фоминична иногда смеялась в кулак. Илья сначала его не любил: Вадим казался слишком легким для места, где столько крови и испуга. Но скоро заметил — эта легкость не пустая. Она держалась на трудной способности не проваливаться в чужое несчастье с головой.

- Ты после смены ходишь как после похорон, — сказал ему Вадим.
- А как надо?
- Как после работы.
- Это не работа.

— Это самая работа и есть. Если начнешь каждого к сердцу пришивать, сам в каталку ляжешь.

Илья ответил:

- Значит, надо ничего не чувствовать?
- Я этого не сказал. Надо чувствовать ровно столько, чтобы руки не дрожали.

Фраза казалась ему сначала циничной. Потом он увидел, как Вадим среди ночи подает стакан воды старому пьяному бродяге так же аккуратно, как профессору с сердцем. Как он снимает сапоги с женщины, привезенной после аварии, чтобы не мучить лишним рывком. Как в коридоре, где никто не видит, накрывает простыней босые ноги умершего мальчика. Легкость Вадима была не черствостью, а ремеслом милосердия. Он дозировал себя, чтобы не сгореть.

Однажды привезли мужчину с разрубленной бровью и запахом ацетона. С ним пришла жена — худая, красивая, в платке, завязанном по-деревенски. Она не плакала, не причитала, только все время поправляла на нем рукав, хотя он был без сознания. Когда врач ушел, Илья спросил стандартное:

— Кто доставил? Что случилось?

Женщина ответила:

— Упал.

Вадим, стоявший рядом, только посмотрел на нее и сказал:

— Табуретом?

Она вздрогнула.

— Откуда вы...

— Работа такая.

Потом, уже после того как ее отправили ждать в коридор, Илья спросил:

— Зачем ты так?

— Как?

— Спросил про табурет.

— Потому что упал он не об пол. А ей, может, первый раз в жизни нужен человек, который не будет делать вид, что ничего не понимает.

В комнате учета висела карта города, испещренная булавками разных цветов. Красными отмечали очаги кишечных вспышек, синими — травматические районы, зелеными — пожары за сезон. На карте хорошо видно было то, что днем скрыто фасадами: где чаще режут, где горят, где старики падают в одиночестве, где дети травятся грибами. Илья то и дело замечал, что смотрит на улицы уже глазами регистратора, не глазами жителя: вот дом, откуда привозят инфаркты; вот квартал, где по субботам особенно много разбитых голов; вот переулок с вечными отравлениями.

Тем не менее ему здесь дышалось легче, чем в жилищном бюро. В больнице ложь была короче. Врач говорил: «Не знаю». Медсестра говорила: «Подождите». Санитар говорил: «Сейчас». Даже грубость тут чаще шла от усталости, а не от презрения.

Ночью на Пасху, когда половина города ела куличи или хотя бы делала вид, что празднует, в приемное привезли мальчика лет четырнадцати с пробитой грудью. Не смертельно, нож прошел вскользь, но крови было много, и мать мальчика, маленькая женщина в лакированных туфлях, кричала так, точно ее горло существовало отдельно от остального тела. Она повторяла:

— Он хороший! Он у меня хороший!

Илья записывал данные, а сам думал: почему в такие минуты все говорят о хорошем? Хорошость — первое, что человек бросает в лицо беде, как паспорт на проверке. Точно несчастье обязано отступить перед характеристикой.

Позже, когда мальчика увезли в операционную, женщина села рядом со столом и сказала тихо, почти буднично:

— Я ведь знала, что этим кончится.

Илья поднял глаза.

— Чем именно?

— Что его убьют или он убьет.

— Почему?

— Он молчит, как его отец. А молчаливые мальчики опаснее крикунов.

Однажды ночью в приемное поступил Семен Игнатьевич. Инсульт. Его привез сосед по лестничной клетке, которого учитель терпеть не мог еще со школьных времен за привычку оставлять мусор у двери. В решающий момент рядом оказался человек с того же этажа, не выбранный друг. Лицо учителя перекошило, речь распалась на отдельные звуки, один рукав

пиджака был мокрым. Увидев его на каталке, Илья почувствовал тот редкий удар, когда прошлое врывается в настоящее без подготовки.

— Знаете его? — спросила Нина Фоминична.

— Да.

Семен Игнатьевич на секунду узнал его. В глазах мелькнула не радость, а странное стыдливое раздражение, как болезнь унизительнее смерти именно тем, что делает человека нуждающимся при свидетелях.

— Всё... Рано, — выговорил он с трудом.

— Нет, — сказал Илья, сам не зная, о чем отвечает.

— Не рано.

Учителя увезли в неврологию. Через два дня Илья пошел к нему после смены. Тот лежал у окна, половина лица была неподвижна, одна рука висела, как чужая. Но глаза оставались прежними — внимательными и чуть усталыми. Они долго молчали. Илья не знал, что говорят в таких случаях человеку, который когда-то научил тебя не спешить с приговором. Наконец учитель произнес почти шепотом:

— Видишь... Как быстро... Язык уходит.

— Видел.

— Береги... Свой.

Илья кивнул. Простой физический факт, не наставление и не красивый жест большого интеллигента. Язык уходит быстро. Не только от инсульта — от страха, привычки врать, ежедневной уступки чужой пустоте. Сначала человек перестает искать точное слово. Потом перестает замечать, что говорит чужими.

После встречи с Семеном Игнатьевичем комната учета стала казаться ему страшнее. Здесь фиксировали не только тела, но и выбывание речи. Каждый третий поступивший говорил не о том, что с ним, а о том, что нужно сделать: позвонить, снять ботинок, предупредить соседку, не забыть сумку. Люди до последнего держались за номер квартиры, за кота, за зубную щетку, за недоваренный суп. Илья записывал адреса и видел, как мелкие поручения остаются на поверхности, когда все крупное уже тонет.

Под конец первой зимы в больнице случился пожар в хирургическом корпусе. Небольшой: загорелась проводка в подвале, но дым поднялся быстро, коридоры забежали, кого-то стали срочно переводить, кто-то кричал, кто-то, наоборот, делался слишком спокойным. Илья в ту ночь впервые увидел, как система, которая днем кажется тяжелой и неповоротливой, в минуту настоящей беды собирается в один живой организм. Нина Фоминична орала команды, Вадим тащил носилки, молодая медсестра Маша плакала на бегу и все равно правильно вела кислородный баллон, дежурный хирург споткнулся, выругался и тут же побежал дальше. Никто не спрашивал о субординации и инструкциях. Каждый делал то, что нужно. Илья работал рядом с ними до утра и чувствовал странную, почти болезненную благодарность.

Утром, когда дым уже выветривался, Вадим сел на подоконник в коридоре, закурил у форточки и сказал:

— Вот видишь. А ты все время думаешь про людей самое мрачное.

— Я не думаю самое мрачное.

— Думаешь. У тебя лицо такое.

— И что же я должен думать?

— Что человек — не только то, как он врет в тепле. Он еще и то, как бежит в огонь.

Нина Фоминична произнесла это и тут же потянулась к телефону: в приемной снова звонили, кто-то стучал в стекло, санитарка ругалась на каталку. Разговор оборвался сам собой.

В ту весну Илья остался в больнице на постоянной ставке. Ночами он записывал фамилии, адреса, часы поступления. Под утро у него мерзли пальцы, в чашке остывал чай, а за дверью кто-нибудь обязательно спрашивал: «Девушка, куда с анализами?» Он уже перестал

поправлять. Пододвигал журнал, отрывал талон и показывал ручкой: «Коридор направо, потом налево».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.